

БОРИС РАББОТ:

Шестидесятник, которого не услышали

BORIS RABBOT:

An Unheeded Voice of the 1960s

A MEMORIAL VOLUME

Boris Rabbot:
An Unheeded Voice
of the 1960s

Articles
Interviews
Reminiscences

Compiled by:

Lynn Visson

Vasily Arkanov

Moscow, 2012

«R. Valent»

МЕМОРИАЛЬНЫЙ СБОРНИК

Борис Раббот:
Шестидесятник,
которого не слышали

Статьи
Интервью
Воспоминания

Составители:

Линн Виссон

Василий Арканов

Москва, 2012

«Р.Валент»

ББК 63.3(2)6-8
УДК 9(092)

Борис Работ: Шестидесятник, которого не услышали. Статьи. Интервью. Воспоминания. Составители Л. Виссон, В. Арканов— М.: «Р.Валент», 2012. — 368 с., илл.

ISBN 978-5-93439-377-0

Философ, социолог, политолог и публицист Борис Семенович Работ (1930–2011) всегда опережал свое время. В пятидесятые боролся с воинствующим атеизмом. В шестидесятые в составе «команды Косыгина» принимал участие в разработке комплекса экономических мер, которые должны были предотвратить медленное сползание страны к тотальному дефициту. В семидесятые настаивал на проведении в жизнь политики дедантанта. Убеденный сторонник того, что Советский Союз можно реформировать лишь изнутри путем постепенных и скоординированных реформ, Б.С. Работ был одним из тех немногих сотрудников высшего эшелона власти, которые начали готовить базу для перестройки задолго до появления М.С. Горбачева.

Несмотря на высокие посты, занимаемые им в разные годы, Б.С. Работ всегда оставался «внутренним эмигрантом». Лишь после вынужденного переезда в США в 1976 г. он получил возможность обнародовать свои идеи. Его открытое письмо Брежневу, опубликованное в газете «Нью-Йорк Таймс», утвердило за ним репутацию пронизательного критика советского строя, способного видеть и отрицательные, и положительные черты своей Родины. Человек поистине энциклопедических знаний, настоящий гуманист, он на протяжении последующих тридцати пяти лет продолжал свою научную, консультативную и преподавательскую деятельность в ведущих университетах и аналитических центрах США.

В настоящий сборник вошли наиболее значительные статьи Б.С. Работы, написанные им с 1960 по 2011 гг., отрывки из его неопубликованных работ, его интервью и воспоминания о нем друзей и коллег. В них он предстает не только ярким ученым, но и бесконечно добрым, заботливым человеком. Книга представляет интерес как для специалистов, занимающихся изучением общественной мысли в СССР, международных отношений, историй эмиграции и шестидесятничества, так и для широкого круга читателей.

ISBN 978-5-93439-377-0

ББК 63.3(2)6-8
УДК 9(092)

Воспроизведение и распространение данного произведения (полностью или частично) любым способом, в том числе путем перевода в электронные файлы и открытия доступа к таким файлам через коммуникационные сети и каналы связи, без договора с правообладателями запрещается и преследуется в соответствии со ст. 146 УК РФ и Законом РФ о защите авторских и смежных прав.

© Линн Виссон, 2012
© Издательство «Р.Валент», 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ – TABLE OF CONTENTS

ЧАСТЬ I

Линн Виссон

Несколько слов о Борисе Рабботе и об этом сборнике11

Биографическая справка26

«Как внутренний эмигрант, я все время жил в закрытой стойке».

Из беседы Дмитрия Шалина с Борисом Рабботом34

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО

Палочка шамеса, или Раввин на Голгофе

(в соавторстве с М. Оппенгеймом)57

Что стоит за увольнением Подгорного. *Особое мнение*65

Детант: Борьба внутри Кремля. *Свидетельства*

бывшего инсайдера69

Открытое письмо Л.И. Брежневу81

Эволюция политической системы. *Ответы на вопросы Комитета*

Сената США по международным отношениям об отношениях между

США и СССР101

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Психология принятия решений на высшем уровне109

Политик в футляре. О вкладе Алексея Косыгина в развитие

России и политику детанта118

Портрет академика А.М. Румянцева.

Отрывки из неопубликованной книги

«Московская элита: Невидимые политики Кремля»134

Пропущенные уроки наших шестидесятников.

Несколько слов о памятной истории155

Россия извне и изнутри159

ВОСПОМИНАНИЯ

Г. Л. Смолян

Аналитик, ставший борцом171

Б.В. Орешин

«Это было в те времена, которые отказывается
понимать разум» (Х.Л. Борхес)172

П. Г. Черемушкин

Друг. Советник. Наставник177

Н. В. Ростова

Я увидела доброту182

А. Е. Войскунский, Н.И. Войскунская

Работа мудрого Раббота186

Энтони Остин

Крик, исполненный оптимизма189

Мэри Холланд

Уроки Бориса190

Эйприл Гиффорд

Он умел видеть вещи, которые другие не замечали191

Лора Вольфсон

Таким я его запомнила193

В.А. Арканов

Прощальное слово196

Список фотографий196

ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМАна вклейке

PART II

<i>Lynn Visson</i>	
Boris Rabbot: A Memorial Volume	203
Biography of Boris Semenovich Rabbot	216

PUBLISHED WORKS

One View on Why Podgorny Was Ousted: Opinion and Commentary	225
Détente: The Struggle Within the Kremlin. <i>An Ex-Insider's Revelations</i>	228
A Letter to Brezhnev	238
The Evolving Political System. From Contribution to <i>Perceptions:</i> <i>Relations between the United States and the Soviet Union</i>	256

UNPUBLISHED WORKS

The Psychology of Soviet Decision-Makers	263
A Statesman in a Case? Kosygin's Legacy for Russia and Détente	270
American Sovietology and Soviet Americanology	283
Upstairs in Moscow: The Invisible Politicians	294

REMINISCENCES

<i>Anthony Austin</i>	
A Cry of Optimism	339
<i>Mary Holland</i>	
Boris's Lessons	340
<i>April Gifford</i>	
That Rare Observer	341

<i>Laura Wolfson</i>	
This is How I Remember Him	343
<i>Lynn Visson</i>	
Farewell	345

КАК ВНУТРЕННИЙ ЭМИГРАНТ, Я ВСЕ ВРЕМЯ ЖИЛ В ЗАКРЫТОЙ СТОЙКЕ...

*Из беседы ДМИТРИЯ ШАЛИНА² с БОРИСОМ РАББОТОМ,
5 августа 2008 года*

Дмитрий Шалин: Борис, если можно, расскажите немного о себе, о родителях, о Вашем пути в социологию.

Борис Раббот: Я родился в очень большой еврейской семье, но отец бросил мою мать, когда она была в положении. Это отразилось на мне психологически, потому что я рано стал заботиться о матери, которую очень любил. Как вы знаете, у многих сыновей инстинкт защиты брошенной матери необычайно силен. Семья была обрусевшая. Прадед мой по линии матери был из кантонистов. В четырнадцатилетнем возрасте его украли у очень крупного раввина в западной черте оседлости, и он прослужил в армии Николая I 25 лет, за что и получил право жить в любом городе России, включая Москву и Петроград. Но выбрал он, как ни странно, Кострому. Видно, присмотрел себе там красивую крестьянку. Я ездил в Кострому с лекциями, когда работал в журнале «Наука и религия». Там сохранился дом, где жили мои родные, но точных данных о прадеде я не нашел.

Я бы не сказал, что бабушка моя и дед были из числа интеллигенции, но почти все их дети получили высшее образование, включая мою мать. В двадцатых годах после окончания Гнесинского института мать начала петь в Большом театре, но сорвала голос. Приезжала итальянская делегация отбирать людей для учебы в Италии — тогда еще это было возможно. Мать предупредили, что нельзя петь при ангине, но она так увлеклась, что у нее появилась мозоль на связке. Тогда операций на связках не делали, и ей пришлось искать другую профессию. Так она стала медиком и фармакологом и решила завести ребенка. В Кострому мама приехала уже беременная, родила меня, а через год увезла с собой в Москву.

² Дмитрий Шалин — социолог из Санкт-Петербурга, бывший аспирант известного социолога Игоря Кона, профессор кафедры социологии Университета штата Невада.

Семья по своим взглядам была очень скептически настроена в отношении Сталина и коммунистов. То есть открыто об этом не говорили, потому что боялись, что дети где-то проболтаются, но антисталинский дух чувствовался в словечках, которые употребляли. Сталина, например, называли «ойчетц», что по-еврейски означало «приемный». Это язвительное от «отца» — смешанное слово, в котором русский корень и еврейское начало соединены воедино.

Дух семьи отразился на мне своеобразно. Он вызвал интерес к социальной теме. Кажется, уже к восьмому классу я прочел почти все полное собрание сочинений Ленина. Я был очень упрям и увлекся этим. Я бы сказал, что это был главный мотив, который меня толкал к философии и социальным наукам. Хотя был и другой: в 1945 г. Сталин произнес тост за здоровье русского народа — тост, вызвавший волну антисемитизма.

С неприязнью к евреям я сталкивался и раньше. Во время эвакуации мы были на Урале, и отношение к нам среди местного населения (по большей части, ссыльных кулаков) было очень отрицательным. Но тогда я не связывал это с национальностью. Дело в том, что эвакуированные заняли часть квартир, которые местные держали для себя. Эвакуированные были грамотными, им завидовали, у них выменивали вещи, их считали богатыми. Многие приехали с большим запасом одежды, но голодали.

Сталинский тост раздул антисемитские настроения. Я поступал в Московский университет в 1948 г., когда ЦК дал прямую команду не брать еврейских ребят на гуманитарные факультеты. Помню сцену после объявления результатов первого сочинения. Весь двор на Моховой перед старым зданием университета был заполнен еврейскими ребятами. Большинство из них всегда писали сочинения на «отлично». Вообще были круглыми отличниками, как и я. И всех нас срезали, все мы попали под одну статью. Спустя много лет у меня в МГУ появились знакомые. По моей просьбе они нашли сочинение, за которое мне поставили тройку. Оказалось, что в слове “посредственный” второе “н” у меня было выписано не очень четко. Этого было достаточно, чтобы снизить оценку на два балла.

ДШ: Значит, в МГУ не удалось поступить?

БР: В итоге я поступил, но экстерном на Юридический. А на следующее лето сдавал еще раз экзамены на Философский,

и получил 25 баллов из 25. И опять меня не приняли. Но на этот раз мне помог мой дядька, брат матери, который меня воспитывал. Он пошел к проректору (был такой по фамилии Вовченко), показал ему мои документы и спросил: “Почему?” Тот ни слова не произнес и подписал: “Зачислить”. Потому что было очевидное нарушение закона. Чем я занимался? Меня тянуло к современной политике, в частности, к проблемам мира и безопасности в советской политике. Но, начиная с третьего курса, я больше занимался зарубежной философией и поступил на кафедру западноевропейской философии. Туда входила также и социология, хотя в названии кафедры это не отражено. Заведующим кафедрой был профессор Ойзерман.

ДШ: Насколько я знаю, среди ваших сокурсников был ряд студентов с большим будущим.

БР: Там были Ильенков, Зиновьев и трое аспирантов. Помимо меня, еще Пешков и молодой Мамардашвили. Еще был там такой преподаватель Корьяков, очень приятный человек. Он потом ушел из философии совсем и занялся своей любимой географией.

Будучи аспирантом, я начал успешно преподавать на старших курсах гуманитарных факультетов МГУ историю западноевропейской философии и социологии. Ну, социологии мало было тогда, ее пинали ногами. Я делал упор на Гоббса, на социальную философию, которую надо было знать. Но даже это кончилось тем, что в итоге мне не дали возможности остаться на преподавательской работе.

ДШ: Это уже после защиты диссертации?

БР: После аспирантуры, потому что в 1956 г. (или в 1955, точно не помню) вышел закон, по которому, прежде чем защищаться, нужно было иметь печатные работы. Мы были первым поколением, попавшим под этот закон. Защищаться мы не стали, но ребята так или иначе устраивались на работу, а для меня, еврея, это была тяжелейшая проблема. Помню, я вел список после студенческой скамьи, сколько мест обошел, в какие двери стучался. В первом случае это было, по-моему, что-то около 250 адресов (я записывал не для статистики, а чтобы иметь адреса), а после аспирантуры количество мест, которые я исходил, было около трехсот. Нигде не брали, хотя всюду были вакансии.

Официально моим научным руководителем был историк западной философии Василий Васильевич Соколов. Но своим настоящим руководителем, человеком, который сыграл огромную роль в моем воспитании, я считаю Валентина Фердинандовича Асмуса. Асмус же познакомил меня с моим литературным наставником, со своим другом, Борисом Леонидовичем Пастернаком.

Мы познакомились в доме-музее Скрябина. На Арбате, недалеко от театра Вахтангова, в те годы еще жили сестры композитора, и по субботам они музицировали в доме Скрябина. Однажды Асмус меня пригласил, и там был Пастернак. Когда я собирался домой, неожиданно выяснилось, что Борис Леонидович идет на Потаповский переулок около Чистых прудов, где я в то время жил. Как потом выяснилось, на Потаповском жила его последняя любовь Ольга Ивинская. Мы пошли вместе и расстались около моего дома — ему еще надо было пройти немного дальше. Это была первая из наших бесед (всего мы встречались раз десять, включая ту встречу в доме-музее Скрябина), и говорили мы не столько о поэзии, сколько о философии. Борис Леонидович сыграл решающую роль в доработке моих мозгов. Они были очень критичны, но, как у всякого молодого человека, не без сумбурности. Небольшие осторожные замечания, которые Пастернак делал в ходе беседы (он мне доверял из-за рекомендации Асмуса, с которым у меня были очень откровенные отношения) окончательно расставили все по своим местам... Асмус считал, что среда, в которой мы находимся, среда философов со степенями — это среда воров. Когда я написал первые главы своей диссертации об эпистемологии Лейбница (меня интересовало, почему в человеческом мозгу возник интерес к проблеме бесконечно малых величин, — вы знаете эту проблему), я обратился к Асмусу с вопросом, стоит ли опубликовать эти главы как статью в сборнике, который готовил Институт философии. Он сказал: «До защиты диссертации — ни в коем случае. У вас всё украдут». Но саму статью он прочитал, и она ему очень понравилась.

ДШ: Когда вы защищали диссертацию?

БР: Я ее не защищал, так и ушел не защитившимся. И статью не послал. Диссертация осталась незаконченной, потому что надо было публиковаться, а публиковаться невозможно из-за того, что всюду воры.

ДШ: Тогда и начались проблемы с трудоустройством?

БР: Да, проблема с трудоустройством у меня была. Но весьма своеобразная. Мне предложили две работы за одну зарплату. История вкратце такова: меня взял к себе первый заместитель правления Общества «Знание», бывший цензор Советского Союза при Сталине Константин Кириллович Омельченко. Одно время он был редактором «Труда», а потом начальником Главлита. Сталин предпочитал советоваться с ним по острым идеологическим вопросам, поскольку Омельченко был первоклассным политиком, кандидатом в члены ЦК. Большая умница, но после смерти Сталина его сняли с работы. Он долго сидел в резерве, пока его не назначили первым заместителем председателя правления Общества «Знание». Так вот Омельченко и взял меня на работу ответственным секретарем бюллетеня Общества «Знание», но с условием, что параллельно за те же деньги я буду писать ему диссертацию. Дело в том, что он хотел устроить для себя «подушку». Ему надоела вся эта административная возня, и он решил уйти преподавателем в Высшую партийную школу или Академию общественных наук, чтобы спокойно дожить до старости. Тема диссертации, которую он выбрал, а мне предстояло написать, противоречила моим взглядам: «Международное значение опыта КПСС». Но выхода не было, и я стал писать, и уже с первых глав он понял, что тема эта неразрешима. Я с самого начала предупреждал его, что он себя подставляет, что по этой теме его заклюют попы марксистского прихода, потому что это самая страшная тема, которая может быть. Вскоре, уже при Хрущеве, его освободили от занимаемой должности и, как водится, «пристроили» главным редактором журнала «Советские профсоюзы». По его просьбе я перешел с несколькими молодыми людьми в новый создающийся журнал. Я стоял у истоков этого журнала. Он называется «Наука и религия».

Я всегда очень увлекался религиозной тематикой. Видите ли, моя бабушка была человеком глубоко верующим. В доме держали религиозные книги, в частности, три тома Гемары на иврите и на русском языке – редчайшие издания. Гемара, если вы не знаете, это толкование Талмуда. И пока бабушка была жива, она учила меня исключительно по ним. До восьми лет я многое знал наизусть и даже неплохо говорил на иврите. После ее смерти постепенно почти все забылось, но что-то эмоциональ-

ное в душе осталось. Я бы сказал, что это была некоторая интенция, которая меня толкала в сторону этой проблематики.

Именно в годы работы в журнале я понял, наконец, в чем основной порок коммунизма. Без понимания истории христианства и иудаизма мне бы не удалось прийти к этому пониманию. Пастернак этому способствовал в ходе нескольких серьезных разговоров, но одно дело — услышать, и совсем другое — прочитать и самому вникнуть в суть прочитанного.

Как единственный еврей, я возглавлял в журнале еврейскую тематику. Первое, что насторожило ЦК (там еще не знали, что я был мозговым центром группы этих молодых ребят), был очерк о Библии евреев. Называлась статья «Палочка шамеса». Это о лагерях в Кохтла-Ярве, где немцы истребляли людей тем же способом, что и в других лагерях — заставляли перетаскивать камни с места на место, потом обратно; унижали страшно людей. Меня мучил вопрос, почему, даже зная об участии евреев Германии и Польши, евреи, жившие в Таллинне, не уехали из Эстонии. Я потом встречался с людьми, которые пережили Холокост в Прибалтике, и убедился, что причина была очень простой. Поскольку многие прибалтийские евреи получили образование в Германии, они просто не верили, что немцы — цивилизованные люди, нация Гейне и Гете — могли издеваться над людьми.

И еще меня очень интересовала судьба самого видного историка еврейского народа Семена Дубнова. Он был сторонником диаспорального расселения евреев. Необычайно интересная личность. Известно, что он вел дневники. Я мечтал их найти и обратился за помощью к людям, прошедшим гетто. Они показали мне дом в Риге, на втором этаже которого он жил. Сказали, что в 1942 его вместе с другими евреями немцы вывели на улицу, где он упал и умер. По другой версии, его пристрелили. Увы, дневников Дубнова, к моему великому сожалению, я не нашел. Не исключено, что новые жильцы бросили их на растопку, потому что дрова в Риге были тогда на вес золота. А может, немцы сожгли — кто знает.

Публикация моей статьи о Кохтла-Ярве вызвала недовольство в ЦК. И хотя тема, вроде, была проходная, приветствовалась (ведь Советская армия спасла евреев от всего этого), во мне почувствовали скрытого еретика. Репутация «еретика» сопровождала меня и в дальнейшем. Журнал мы делали втроем: я, Борис Григорян — очень приличный человек, который впоследствии

работал в Институте философии, и еще один журналист. Я, конечно, играл роль «заводи́лы» и поставил задачу, которую мы в итоге реализовали: истребление воинствующего атеизма.

ДШ: Чтобы его место занял научный атеизм?

БР: Нет-нет. Я потом ввел отдел истории и теории атеизма. Надо было доказать, что курс этих старых атеистов (а их было большинство и в редколлегии, и кругом — они еще с двадцатых годов руководили делом) очень вредный. Причем не только в гуманитарном отношении, но и конкретно. Они ведь призывали закрывать церкви силой. Для меня это было категорически неприемлемо. Я тогда очень много общался со священнослужителями, был в прекрасных отношениях с ленинградским митрополитом Николаем, который ведал иностранными делами Русской православной церкви. Он ко мне хорошо относился. И воинствующих атеистов мы одолели. Просто не пускали их в журнал или переписывали статьи. Я собственно вручную переписывал.

Вторая задача, которую мы перед собой ставили — начать искренний и равноправный диалог с богословами православной церкви. Это тоже, к сожалению, легло на мои плечи, и в Отделе пропаганды ЦК сие не осталось незамеченным. Тогда отрекся от религии некий профессор Ленинградской богословской академии по фамилии Осипов. Сейчас об этом мало кто помнит, но в те годы история наделала много шума. Даже в «Правде» появилась большая статья по этому поводу. На страницах нашего журнала началось ее обсуждение, и одним из откликов было письмо коллеги Осипова по духовной семинарии профессора Миролюбова. Маленькое такое письмишко, всего на одной странице, и смысл его сводился к следующему. Дескать, сами вы, профессор Осипов, можете не верить в Бога, но подумайте о рядовых верующих — о «малых сих», как называл их Миролюбов, — тех, для кого вопрос веры является смыслом духовной жизни. Или если не смыслом, то единственной оставшейся у них опорой. Миролюбов не расписывал тогда, как тяжело при советской власти рядовым верующим, про гонения и т.д. — это и так было ясно. Мне удалось добиться разрешения на публикацию этого письма при условии, что будет ответ Осипова. Тогда я специально выехал в Ленинград и уговорил Осипова ответить. Это было в начале шестидесятых, когда публикация письма богослова в атеистическом журнале была довольно дерзким поступ-

ком. Конечно, без ответа Осипова никто бы мне не разрешил его опубликовать. Но уже сам факт публикации, честный диалог, попытка представить в журнале два противоположных взгляда — мне это представляется большим достижением.

Наконец, третья задача, которую ставил перед собой наш журнал — прекратить преследование верующих за их взгляды. Здесь-то и произошел тот конфликт, из-за которого я был вынужден с боем покинуть занимаемый пост. Меня стали травить из ЦК. Тогда же сменился главный редактор. Поводом для конфликта послужило письмо двадцатипятилетней женщины из Минска, баптистки, муж которой публично отрекся от религии. Она решила обратиться к нам, потому что такие публикации как письмо Миролюбова необычайно повысили авторитет журнала — тираж рос просто как на дрожжах. Письмо этой женщины попало ко мне — письмо интереснейшее. Она писала, что муж ее отрекся от религии, потому что у него завелась любовница, и он теперь живет с ней и двумя детьми, а ее — свою законную жену и мать этих детей — выгнал, чтобы оградить их от ее баптистских воззрений. Женщина писала, что тайно встречается со своими детьми, но никогда не мешала им быть пионерами или ходить на собрания, никогда никакой веры специально не прививала. Меня это письмо очень заинтересовало. Я увидел, в нем в первую очередь нравственную проблему. Мне было очевидно, что ее муж — обыкновенный бандит, которому захотелось обыкновенного бабца, и он просто решил выселить мать двоих детей из квартиры под предлогом того, что она верующая. А в газетах его представляли чуть ли не героем.

Я нашел знакомого корреспондента, которому доверял, зная его как человека добросовестного. Он загорелся, поехал и написал страшный, убийственный очерк об этой истории. Мы попытались его опубликовать, но цензура не пропустила. Тогда мы пошли на хитрость: вставили кусочек из этого очерка, выжимку из него, в текст речи, с которой наш главный редактор должен был выступить на большой атеистической конференции. А когда конференция прошла, опубликовали это как отрывок из выступления нашего главреда. В ЦК специально принялись выяснять, кто всю эту комбинацию проделал. Оказалось — Работ. Меня подвергли настоящей травле, выгнали из журнала, сделали все, чтобы я никуда больше устроиться не мог. Когда друзья организовали мне встречу с Румянцевым (в ту пору главным редактором «Правды»), и он хотел предложить мне место,

ему позвонил заведующий Отделом пропаганды ЦК и «обложил» меня последними словами. Позднее Алексей Матвеевич говорил, что мог бы за меня побороться, но игра не стоила свеч, поскольку он знал, что скоро его самого «уйдут» из «Правды». Мы договорились, что встретимся в Академии наук. Он мне дал ясно понять, что хотел бы со мной работать.

ДШ: Наверное, в КГБ вами тоже тогда заинтересовались...

БР: В КГБ мной заинтересовались намного раньше, еще на первом курсе философского факультета. И это, конечно, тоже помогло мне «прозреть» еще до XX съезда. Меня вызвали в КГБ с просьбой дать показания на ребят-экстерников. Я был вхож в их компанию. Они собирались на квартире у паренька, отец которого, комиссар, был расстрелян в 1937. Там было первое собрание сочинений Ленина с комментариями Троцкого, Зиновьева и так далее — в ту пору большая редкость. Мы зачитывались этими вещами и слушали иногда «Голос Америки». Шел январь 1949 г. — начало кампании по борьбе с космополитизмом. Я сказал, что у нас такие-то и такие-то разговоры и интересы, но что ничего политического в них нет. Вроде бы и все. Но буквально через несколько дней меня вызвали в другое место и опять попросили рассказать об этой компании, а потом задали вопрос напрямик: вы нам поможете их разоблачить? Я сказал, что это честные ребята и что разоблачать их не в чем — и вдруг ощутил страшный удар в плечо. Обернулся — и увидел, что за моей спиной стоит человек цыганского вида. От него разило сивухой. Откуда он взялся — не знаю. Я был неопытен, вскочил, схватил за ножки табурет, на котором сидел, и сказал: «Еще раз ударишь, получишь от меня табуретом». Тут из разных дверей (а там их было несколько) вбежало четыре или пять человек, выхватили у меня табурет и начали меня этим табуретом бить. Я упал на пол, закрыл голову руками, но один из ударов вызвал страшную боль, и я потерял сознание. Очнулся я во дворе собственного дома на Потаповском от очень неприятного ощущения во рту. Принюхавшись, понял, что от меня пахнет спиртом. Потом мне объяснили, что, по-видимому, мне в горло залили водки, чтобы в случае если я умру от побоев, милиция могла установить факт смерти от опьянения. Я дополз до дома (по счастью, квартира мамы была на втором этаже) и две недели не мог двигаться. Оказалось — трещины в двух позвонках. Слава Богу, молодой организм (я был спортсменом, играл в волейбол)

как-то вытянули меня. Но это очень многое определило. Я уже ненавидел эту систему.

ДШ: Борис, а вступать в комсомол, в партию вам приходилось?

БР: В комсомол я вступил в школе вполне искренне. Мы были молоды, не задумывались о многом. А в партию до работы в журнале я не вступал. А вступил, потому что надеялся сделать больше изнутри партии, чем извне. Тогда многие вступали именно с такой мыслью. Это был хрущевский период до 1964 г.

ДШ: Из журнала вас уволили, или вы сами ушли?

БР: Меня вынудили написать заявление «по собственному желанию».

ДШ: И вскоре после этого вас представили Румянцеву, который уже собирался переходить в академический мир.

БР: Меня рекомендовали Румянцеву два моих однокашника. Один из них был помощником Румянцева в «Правде» и работал с ним еще в Праге в журнале «Проблемы мира и социализма». Тогда была целая группа «пражан», к которой позже и меня причисляли. «Пражанами» называли группу людей, которые вернулись в Москву из Праги и находились под влиянием идей еврокоммунизма. Они отнекивались от этого названия, чтобы не создалось впечатления, будто в партии возникла какая-то группировка. А в 1965 г., когда Румянцев перешел в Академию на должность академика-секретаря Отделения экономики, я сразу стал с ним работать в качестве ученого секретаря этого отделения. В мои обязанности входила работа по оценке теоретической деятельности институтов и одновременно (это приходилось делать всем помощникам необразованной советской элиты) написание за шефа статей, докладов и книг. Объем работы был огромен, а зарплата крошечная, но выбирать не приходилось. А в 1967 г. было принято решение о создании Института конкретных социальных исследований. Он создавался на моих глазах и при моем непосредственном участии.

ДШ: Что особенно запомнилось из этого периода?

БР: Когда Румянцев стал вице-президентом Академии наук, в его распоряжение перешел аппарат бывшего вице-президента Федосеева. Он состоял из нескольких ученых секретарей и ре-

ферента, который оказывал Румянцеву личные услуги. Я был единственным, кого Румянцев привел с собой, поэтому относился к его аппарату весьма настороженно. Моего глаза они как-то побаивались, а Алексей Матвеевич в людях не понимал, он слишком... Как вам сказать... Во-первых, старость. Вообще это было его слабое место.

ДШ: Кадровая политика?

БР: Не только. У него дома всем руководила жена — умная женщина, еврейка. И это сказалось на Алексее Матвеевиче. Когда тобой все время командуют дома, ты и на работе не чувствуешь себя достаточно сильным. Кроме того, он по натуре был человеком мягким, либерально настроенным. В то время было очень много выдвиненцев, которых назначали на ответственные посты вопреки их характеру. Румянцев — яркий тому пример. Он ведь стал заместителем заведующего Отделом культуры ЦК по личному указанию Сталина, который заметил его на одной из экономических конференций. Румянцев предложил какую-то формулу об основном экономическом законе социализма, и эта формула очень понравилась Сталину. (Подробностей я не знаю, так как в то время с ним не работал, но закон этот мне казался крайне сомнительным. Ну, неважно, это было сделано из лучших побуждений.) До переезда в Москву Румянцев был секретарем Харьковского обкома партии по идеологии, а Харьков — очень своеобразный город. Там превалировала такая полуинтеллигентская оппозиционно настроенная среда, существовало напряжение между русскими и украинцами. Это очень влияло на психологию людей. Румянцев отстаивал интересы русского населения. (Кстати, там жило и довольно много евреев).

ДШ: Как строилась ваша работа с ним?

БР: С Алексеем Матвеевичем мы часто разговаривали тет-а-тет. Обычно такие беседы проходили в академическом санатории «Узкое» недалеко от Москвы — там большой участок, сад, огороды. Мы ходили и разговаривали. А у себя в кабинете он говорить боялся из-за подслушивающих устройств. Был он человек влиятельный, знал членов Политбюро и прекрасно понимал, о чем можно говорить вслух, а о чем — нет.

Я занимался теорией, а у Алексея Матвеевича чем дальше — тем больше разгорался аппетит на мои статьи, на то, что я для

него делал, поскольку это создавало ему очень высокую репутацию. Помню, в 1968 г. я написал ему доклад для выступления на Парижской конференции. В ней принимали участие все ведущие социологи мира. И после выступления к Румянцеву подошел сам Раймон Арон и сделал ему комплимент, которого мой шеф никак от Арона не ожидал. А это уже международное признание! Неудивительно, что ему хотелось еще и еще.

ДШ: Иметь референта с головой — дело хорошее.

БР: Не просто референта, а автора, который сидит и пишет. Я не возражал. Ни одну из идей, которые я вставлял в его доклады, я не мог бы опубликовать от своего имени. Это было нереально. А под его фамилией написанное мной публиковалось, и это все искупало. Увы, он не всегда использовал мой текст честно, но это другая тема.

ДШ: Румянцев помогал академическим людям с неортодоксальными взглядами?

БР: Да, но каждый раз с моей подачи и под моим нажимом. Румянцев участвовал почти во всех делах диссидентов, пытался помочь. Имена тех, за кого он заступался, сейчас хорошо известны. Например, историк Михаил Гефтер, Рой Медведев, Александр Аскольдов... Хотя изредка я отговаривал его помогать, когда видел, что вопрос выходит за рамки его компетенции. Например, так было с Театром на Таганке. Мы пошли на спектакль «Галилей», и я шефу честно сказал, что спектакль мне не очень понравился. Я был против закрытия театра, но считал, что вмешательство Румянцева может быть только косвенным, потому что это не в его компетенции. Это не академическое дело.

У Румянцева было несколько «рычагов воздействия». Во-первых, через помощника Демичева Ивана Фролова — будущего главного редактора «Вопросов философии», специалиста по критике лысенковской генетики. С ним мы вместе учились в аспирантуре. Во-вторых, у Румянцева были очень хорошие отношения с помощниками Сулова. Кроме того, у него были регулярные встречи с членами Политбюро. Он ведь почти всех знал лично. Повлиять на них вряд ли мог, но возможность высказать свою точку зрения у него была. Он дружил с Подгорным, с Пономаревым (я часто слышал их разговоры по вертушке). Очень сблизился в последние годы с Андроповым.

У него было около десяти встреч с Андроповым на конспиративной квартире, и конспекты по ним готовил Румянцеву я. Обсуждался вопрос о том, какой быть перестройке, если говорить современным языком. Я имею в виду «андроповскую перестройку» — ту, которая не состоялась из-за его преждевременной смерти. Но проекты ее уже имелись.

Фактически Румянцев стал лидером либеральной оппозиции — особенно после провала реформ и Чехословацких событий. Но в итоге ему пришлось поплатиться за свои взгляды. В начале семидесятых на заседании секретариата ЦК его сняли со всех постов и вынесли выговор с формулировкой «За либерализм». Председателем этого заседания и автором формулировки был Сулов, который не простил Румянцеву его выступлений в защиту диссидентов, театров и так далее.

Алексей Матвеевич боролся не с консерватизмом вообще, а с нелепостями системы. Для меня это пример человека, прошедшего путь от сталинизма к демократическому социализму, но остановившегося на полдороге. Как человек, выросший в годы гражданской войны, он понимал значение завоеваний революции. Понимал, что их нельзя просто выбросить на улицу, как это делали поначалу перестроечники. В России слишком много крови пролилось. Я бы сказал, что Румянцев хотел постепенной эволюционной перестройки страны. Я лично до сих пор уверен, что это был единственно правильный путь. Принцип здесь один: тише едешь — дальше будешь. Иначе покалечишь всю страну.

ДШ: Если не ошибаюсь, Сахаров тоже руководствовался этим принципом.

БР: С Сахаровым был очень показательный эпизод. В 1967 Андрей Дмитриевич принес Румянцеву свой знаменитый меморандум с предложением подписать его совместно. Румянцев ему объяснил, что если под меморандумом появится его подпись, то его деятельность в ЦК будет парализована. У них был сравнительно недолгий разговор, в конце которого (как потом мне рассказывал Румянцев) он понял, что Сахаров — очень хороший человек и очень большой идеалист, но малограмотен в гуманитарных вопросах. Алексей Матвеевич переадресовал Сахарова ко мне, сказав: “Поговорите с моим помощником”. У меня было два разговора с Сахаровым. Первый длился часа четыре, вто-

рой — часа три, и за это время я очень многое успел ему рассказать, старался быть аккуратным, ни в коем случае не обидеть, но убедился, что Румянцев прав. Сахаров был милейшим человеком с удивительным чутьем на международные вопросы. Он прекрасно понимал значение всей мировой склоки, вернее, мирового клубка вокруг атомной бомбы. Но при этом гуманитарно был совершенно не образован. К сожалению, продолжать наши встречи мы не могли: Румянцев предупредил меня, что могут быть неприятности. Позднее, уже в 1968 (после создания ИКСИ), Алексей Матвеевич рассказал мне такую историю. Ему пришло от Сахарова письмо, в котором Сахаров извещал Румянцева, что встречался с зав. отделом науки ЦК Трапезниковым и получил разрешение выступить в ИКСИ с докладом о ядерной бомбе и международных проблемах с последующей дискуссией по этому вопросу. Алексей Матвеевич мне говорит: “Я позвонил Трапезникову и спросил, действительно ли было такое разрешение”. Трапезников говорит: “Я никакого разрешения не давал”. Румянцев мне говорит: “Как это понять?” Я говорю: “Алексей Матвеевич, я лично больше верю Сахарову”. Румянцев был бы рад предоставить трибуну Сахарову, но не мог сделать это без согласия Трапезникова. Это был 1968 год, канун Чехословацких событий. Я был уверен, что Сахаров поднимет эту тему, и не видел ничего страшного в том, чтобы социологи ее обсудили. Румянцев тоже так считал. С точки зрения здравомыслящей части советской верхушки Сахаров был бы менее опасен, если бы ему дали возможность выступить в академическом институте.

ДШ: Я знаю, что в судьбе Твардовского Румянцев тоже принимал участие.

БР: Перед снятием Твардовского с поста главного редактора «Нового мира», когда ему шли реляции из Союза писателей о том, что будет смена редколлегии, Александр Трифонович позвонил Румянцеву. Они дружили еще со сталинских времен, и Румянцев очень уважал Твардовского за прямоту и честность. (Он мне не раз говорил, что Твардовский — честный человек.) Так вот Твардовский позвонил Румянцеву с просьбой написать статью о Ленине в юбилейный номер (в 1970 г. праздновался столетний юбилей Ленина) и заодно рассказал о развязанной против него травле. Алексей Матвеевич горячо его поддержал, а статью, как всегда, поручил написать мне.

ДШ: Сам он писал уже мало?

БР: Он уже давно совсем не писал. В лучшем случае, просматривал. Все, что вышло под его именем, написано мной. А основная моя работа вылилась в его книгу «Проблемы современной науки об обществе».

Но вернемся к статье о Ленине. Видите ли, это была для меня довольно неприятная тема. Я вообще не очень высоко ценил основателя советского государства. Понимал уже в шестидесятые годы, куда уходят корни большевизма. Но я откопал очень интересный материал, который показывал неграмотность советских руководителей брежневского периода. Я заказал в ФБОНе — Фундаментальной библиотеке общественных наук — материал о том, кто из членов первого советского правительства выступал со статьями в печати, кто писал сам и за кого писали другие. Интуиция меня не подвела. Из пятидесяти членов первого советского правительства в ежедневной печати выступали сорок девять человек, и никто за них, естественно, не писал. Они писали сами. Я эту тему прокрутил в статье «Ленин как литератор».

Румянцев поставил меня в жуткое положение с этой статьей. Ее нужно было закончить за месяц. Я работал день и ночь, совершенно измотался. При этом мои обязанности по работе в секторе ИКСИ никто не отменял. Но, в общем, уложился, представил статью к сроку. Каково же было мое удивление, когда уже после снятия Твардовского вышел номер «Нового мира», и я увидел, что часть о том, как члены первого большевистского правительства сами писали свои статьи, отсутствует. Через знакомых в редакции я выяснил, что часть эту вычеркнул сам «автор» — Румянцев.

ДШ: Не поставив вас в известность?

БР: Вот именно. Румянцев обычно ничего в моих текстах не исправлял. Иногда только вставлял в первую фразу слова “партийность” или “классовость”. (Это старые штучки). Сам он писал с трудом, застревал на первом же предложении, в которое обычно хотел втиснуть сразу все свои мысли. А у меня был большой редакторский и журналистский опыт. Кроме того, как историк философии, я разбирался в этих проблемах. А здесь он снял, потому что отчасти это был камушек и в его огород.

ДШ: Сам подпадает под этот анализ.

БР: Ну, да. Он, вообще, академик, его трудно было упрекать. С другой стороны, мы знаем, что такое «пролетарский» академик... Я не мог этого забыть. Понимаете, даже когда пишешь за кого-то, у вас возникает чувство родственности по отношению к тексту. Жалко, когда его калечат. Я вспоминаю рассказ одного из авторов воспоминаний о Бовине — о том, как в его присутствии кто-то (по-моему, Катушев) спросил у Брежнева, можно ли в его докладе переставить один абзац на другое место, и Бовин (который этот доклад писал) бросил такую реплику: “Это все равно, что ухо переставить к жопе”. Саша был на это способен. Когда с вашим текстом делают такую пересадку, то возникает очень неприятное чувство — будто хирург полоснул скальпелем не по тому месту. К сожалению, с Бовиным дружбы у нас не сложилось. Человек он был интересный, хотя и не без карьерных соображений. Нам было о чем поговорить. Он ведь писал диссертацию о бесконечности в математике, и это сходилось с проблематикой моей диссертации о бесконечно малых величинах. Он оскорбился, когда я ему однажды сказал: “Ты интеллектуально обслуживаешь серолапых медведей”.

ДШ: А в вашей статье о Ленине «вылетело» только это место?

БР: Все осталось. Только заголовок в редакции изменили. Я Алексею Матвеевичу напомнил об этом в 1973 г., когда он ушел с работы, и из Академии с поста вице-президента. Я его не бросил, жалел. Как-то он еще пытался барахтаться, надеялся, что его изберут в члены ЦК. Политики ведь не меняются. Карьерность у них в крови, в костях. Мне было ясно, что его гложет совесть. Я был для него одновременно и помощником, и другом, и душеприказчиком. Он понимал, что я к нему очень хорошо отношусь, что я искренне желаю ему добра.

ДШ: Вы ничего не рассказали о вашей работе в ИКСИ.

БР: Я там заведовал сектором экспериментальных исследований. Этот сектор мы создали, чтобы решать проблемы, которые могли быть вызваны к жизни экономической реформой. В том, что реформа рано или поздно начнется, я не сомневался. Понимал, что мы живем в эпоху не развитого, а склеротичного социализма, что дело идет к концу. Потому и заинтересовался социальными экспериментами.

На сектор возлагались две основные функции. С одной стороны, Румянцев хотел, чтобы мы давали практические рекомендации, обрабатывая данные проводимых исследований. С другой, чтобы мы сами проводили исследования экспериментальных ситуаций путем опросов, выяснения проблем, предложений и т.д. Первые же эксперименты показали, что в ходе экономической реформы возникнут огромные проблемы. Во-первых, децентрализация власти приведет к необходимости переквалификации рабочей силы — изменятся функции рабочих, инженеров и т.д. Во-вторых, возникает необходимость в перемещении рабочей силы по районам. В-третьих, встанет проблема социального обеспечения безработных. Все это требовало осмысления. Я набрал людей, которые сами себя образовали в социологическом плане. Не было же тогда системного социологического образования.

ДШ: Сколько сотрудников было в секторе?

БР: Со мной вместе — десять человек. Но трое из них — евреи, поэтому когда начала работать знаменитая комиссия ЦК, МГК и райкома, мне выдвинули обвинение в «засорении» кадров. Для них это выглядело неслыханной наглостью: мало того, что заведующий сектором сам еврей, так еще позволяет себе брать на работу других евреев. Чаще всего, евреи боялись брать на работу своих соплеменников.

ДШ: Вы можете кого-то назвать?

БР: Из социологов более или менее известных — Михаил Лойберг. А из социологов-самоучек — бывший математик Александр Ицхокин. Лойберг привел его со словами, что это будет у нас еще одна «рабочая лошадка». Саша был очень талантливый, все хватал на лету. Но с теоретической частью мне никто из них помочь не мог — писать Румянцеву все равно приходилось мне. И это параллельно с работой над моей собственной докторской диссертацией по теме «Проблемы эксперимента в социальном исследовании». Ну, а по поводу докторской у меня с Румянцевым произошел такой разговор. Я ему сказал, что готов написать диссертацию, но только по теме, которая действительно полезна, нужна. Мне надоело заниматься оторванной от реальности теорией. Понимаете, меня вообще идея защиты отвращала. Я понимал, что все это делают ради денег, и мне уже одно это было противно. Я немножко иначе был воспитан. Наука

меня тянула значительно больше, чем деньги. Я увлекался искусством, а деньгами — никогда.

ДШ: Когда создавался институт, вы были ученым секретарем Президиума Академии наук по общественным наукам и одновременно помощником Румянцева. Став заведующим сектором в ИКСИ, вы продолжали помогать Румянцеву неофициально?

БР: Официально. Румянцев не хотел меня отпускать. У него к тому времени были огромные аппетиты по литературной части. Вот лишь один характерный эпизод. Когда началось вторжение в Чехословакию, Румянцев отдыхал в Барвихе. Он вызвал меня туда с просьбой написать статью с критикой чехословацкой реальности, которую от него потребовал международный отдел ЦК. По-видимому, на моей роже все было написано, потому что, посмотрев на меня, он сказал: «То, что вы не хотите, это хорошо. Я закажу другому». Стремясь уберечь его доброе имя, я сказал, что сделаю. Расчет мой был очень прост: затянуть как можно дольше. Он знал, что я иногда затягивал с трудными заданиями, и я действительно в тот раз запоздал. Правда, всего на один день, но этого хватило: необходимость в статье отпала, и его имя было спасено.

ДШ: Давайте вернемся к институтским реалиям. Помните, было такое дело Левады? Как вам все это виделось?

БР: Дело Левады очень запутанное. Я его наблюдал в деталях. К Юре Леваде я относился с симпатией и уважением, но друзьями мы не были. Знакомство наше состоялось еще на философском факультете МГУ — он учился на курс старше. Потом, через пять-шесть лет он издал книгу о религии и предложил статью на эту тему в редакцию журнала «Наука и религия» в мой отдел. Откровенно говоря, мне его книга не понравилась из-за своей поверхностности. По характеру мы были разными людьми: он внешне казался флегматичным, но временами позволял себе явное ехидство по адресу тех, кто ему не нравился. А я отношусь к ироничным людям настороженно, считая их недобрыми. Кроме того, Юра был окружен сотрудниками, которые им восхищались, а мне одинаково не нравится как власть над людьми (пусть даже и с помощью идей), так и идолопоклонники этой власти.

К сожалению, Юра был человеком, мягко говоря, далеким от политики, хотя чисто теоретически, наверное, понимал, что есть такая сфера человеческой деятельности, где лучше не размахивать красной тряпкой перед быком, где нужна тактика, умение защищаться и идти на компромиссы. Но, по-видимому, в глубине души он ставил себя выше этого. Мне кажется, что публикация «Лекций» стала для него идефикс и одновременно видом эпатажа против советского истеблишмента. Когда «Лекции» Левады обсуждали в Академии наук и в ЦК, больше всего ему досталось за сравнение коммунизма с национал-социализмом. Но кроме двух абзацев в самих «Лекциях», никто не мог предъявить ему ничего конкретного.

ДШ: Тогда говорили, что «нечеткая позиция Левады особенно пагубна для молодого поколения». Эта формулировка часто встречается в обкомовских документах.

БР: Совершенно верно. А придумал ее Николай Лапин, который в итоге сменил Румянцева на посту директора ИКСИ. До того серый человек, что ему следовало бы родиться крысой. Сколько я его помню по факультету (он учился на год младше меня), столько он занимался исключительно общественной работой. Ничего общего с наукой он не имел. Мозги у него работали только в плане где что происходит и как кому угодить. Первое, что он сделал, когда его назначили директором Института, — бросился выполнять все рекомендации комиссии ЦК, МГК и райкома по очистке кадров. Начал, естественно, с меня. Вызвал и говорит: «Слушай, я должен твой сектор ликвидировать». Я говорю: «Ты это считаешь нужным или просто берешь на себя?» Он говорит: «Что ты имеешь в виду?» Я сказал: «То, что ты делаешь, — я это имею в виду». Но я не возражал — понимал, что существование сектора невыносимо. Мне было ясно, что с реформой покончено навсегда. И я не ошибся: в те годы Брежнев окончательно положил проект реформы в дальний ящик письменного стола.

ДШ: Вам пришлось снова уйти «по собственному желанию»?

БР: Да. Знакомые ребята из Института естествознания создали сектор социологии науки. Он назывался сектором системных исследований. Я пошел туда заниматься социологией науки. Институтом тогда руководил Бонифатий Михайлович Кедров. Его заместителем был Микулинский. Микулинский меня и при-

гласил, потому что я помогал созданию отдела науковедения в этом институте. Он знал о моих знаниях и интересах.

ДШ: Расскажите о судьбе вашей книги «Проблемы эксперимента в социальном исследовании».

БР: Эта книга выросла из моей докторской диссертации и была издана для служебного пользования небольшим тиражом в несколько сот экземпляров, но без грифа «секретно». После критики Ягодкина на партийном собрании, где обсуждали «Лекции» Левады, мою книгу и еще, по-моему, книгу Капелюша, было принято решение избавиться от моей книги, изъять ее из библиотеки. За что? За то, что я называл ведущих социологов Америки (Парсонса, Мертон и других) коллегами. «Как говорит мой коллега», — писал я, и это больше всего возмутило Ягодкина. Постановили сдать книгу в утильсырьё, но потом решили сжечь ее во дворе дома на костре. Меня об этом предупредили ребята. Было много свидетелей. Я туда не пошел, но попросил взять для меня несколько экземпляров. Это был последний мощный удар. Я продолжал работать с Румянцевым, но мой взгляд на социологию был крайне пессимистическим.

ДШ: Что вам запомнилось из самых последних встреч с Румянцевым?

БР: В 1972–1974 гг. мы встречались с ним практически каждое воскресенье в связи с его работой с Андроповым. Румянцев рассказывал мне о содержании их бесед. Они обсуждали вопросы о характере реформ, о темпе, о будущем партии, о будущем церкви — те вопросы, которые до сих пор не решены. Это, пожалуй, самое трудное в моей теоретической работе с Румянцевым. Одно дело представить себе прошлое России, которому я уделял много внимания в моей работе в журнале «Наука и религия». И совсем другое — представить себе будущее. Для меня это была безумно трудная задача. Опять же, у меня была своя работа. Приходилось работать ночами.

ДШ: Что оказало наибольшее влияние на ваше окончательное решение эмигрировать?

БР: Последним фактором, подтолкнувшим меня к отъезду, стало то, что Румянцев изменил своим принципам. Это произвело на меня ужасное впечатление. Я понял, что он перечеркнул свою карьеру. Но я виноват сам. Мне хотелось сделать из

него крупного политического деятеля, а «материал» к этому не располагал. Плеханов когда-то говорил, что Ленин сделан из того же теста, что и Робеспьер. Если человек сделан из другого теста, из него никогда не вылепить то, что ты хочешь.

Был еще и другой важный фактор. Я понимал, что черносотенцы в этой стране неистребимы. Я устал от еврейского вопроса, просто устал. Рожа у меня не похожа на еврея, но по паспорту я еврей. Для меня это был вопрос отношения к матери, которой я никогда не изменю. Она была несчастным человеком — великомученицей и бессребреницей.

И потом еще вот что: я раньше других понял, что такое советская власть. Большинство моих товарищей, знакомых, которые стали либералами, пришли к этому выводу после XX съезда. У меня же сложилось отношение к Советской власти значительно раньше, и это сделало жизнь невыносимой.

Как внутренний эмигрант, я все время жил в закрытой стойке. Я понимал, что говорить ни с кем нельзя: слишком много стукачей. В какой-то момент это стало просто невыносимо — и тогда я уехал.